

Н. К. Михайловский
Гамлетизированные поросята

(«Отеч. Записки», 1882, No 12)

Говоря о многочисленности и разнообразии характера Гамлета, Маудсли замечает: "При откровенном признании со стороны сочувствующего читателя оказалось бы, по всей вероятности, что он считает самого себя настоящим Гамлетом; неудивительно, что, по его мнению, он всего более и способен понять этот характер"¹. В этом замечании много правды, и самая интересная правда состоит в том, что действительно многим, слишком многим людям кажется, что они удивительно похожи на знаменитого датского принца; едва ли даже найдется более счастливый в этом отношении литературный тип. Отчасти это объясняется, конечно, художественным гением Шекспира, который воплотил в Гамлете широко распространенные черты человеческого духа. Но с этим объяснением едва ли согласятся все действительные Гамлеты и воображающие себя таковыми. Напротив, они склонны выделять себя из большинства людей, считать себя чем-то особенным, совмещающим именно редкостные, наименее распространенные черты человеческого духа. Значит, Гамлет обаятелен для них совсем не теми своими сторонами, которые попадают на каждом шагу, чуть не в каждом человеке, только в различных пропорциях. Да наконец, объяснение и само по себе не полно. В Фальстафе ведь тоже воплощены широко распространенные черты, однако что-то мало охотников быть или казаться Фальстафом. Который, если и буквальное повторение Фальстафа собою представляет, так и то не признает своего с ним сходства и, может быть, именно Гамлетом рисуется в собственных мечтаниях или перед другими желал бы рисоваться. Дело понятное. Одна из самых распространенных слабостей человеческой природы состоит в более или менее высоком о себе мнении, и так как Фальстаф есть старая, переполненная всяким свинством бочка, то ни у кого нет охоты узнать себя в таком зеркале. Гамлет совсем другое дело. Надо только узнать, какие именно черты его характера делают его героем, предметом удивления, поклонения, подражания для множества людей, иногда мелких, как мелкая тарелка, а иногда по крайней мере очень неглупых.

Когда человека приятно щекочет сознание сходства или только праздная мечта о сходстве с каким-нибудь баловнем счастья, вся жизнь которого есть ряд успехов, то тут нет ничего удивительного. Всякому счастья хочется, а успехи и победы, цветочные гирлянды и лавровые венки -- все ведь это внешние выражения, атрибуты счастья, за которыми истинного счастья нет, может быть, ни капли, но которые по наглядности своей издревле составляют предмет мечтаний огромного большинства людей. Гамлет не может служить объектом таких элементарных и грубых мечтаний. Он не Иван-царевич, которому достались и жар-птица, и царь-девица; не Аника-воин, что на белом коне скакал, врагов устрасал; не Чурило Пленкович, на которого красные девушки и старые старушки глядели -- наглядеться не могли. И во всех других смыслах он отнюдь не баловень счастья. Правда, он принц и наследник датского престола (устраненный, впрочем, от трона преступлением дяди); но не розы и лавры, а тернии, острые, колючие, душу раздирающие тернии венчают его на жизненном пути. Измена, предательство, холопство, лицемерие, низость, пошлость, подлость -- вот что он видит кругом себя. И видит не в качестве постороннего зрителя, прямо не задеваемого развивающеюся в его присутствии игрою всяческих гнусностей. Нет, он стоит в самом центре этой игры и на себе выносит все ее случайности и намеренности: дышит нравственно отравленным воздухом и умирает от удара отравленной рапирой. Чему же тут завидовать? об чем мечтать?

Но пусть судьба или так называемые ближние безжалостно пытаются Гамлета. Быть может, острие вонзающихся в него терний тупится об сознание исполненного долга, и это сознание не только облегчает его участь, а придает, кроме того, такое величие его фигуре, что здесь-то и надо искать причины указанного Маудсли явления. Нет, этого не может

быть. Именно отсутствие сознания исполненного долга и характерно для Гамлета. Он в течение пяти актов все собирается исполнить то, что считает своим долгом, делом чести и совести, и только за несколько секунд до своей смерти исполняет его наконец, но и то случайно и двусмысленно: собственно говоря, уже не за отца своего он мстит, а за самого себя, изменнически убитого. Весь внутренний интерес драмы в том и состоит, что человек, имеющий полную возможность сто раз исполнить свой долг (или то, что он считает своим долгом), постоянно колеблется, отступает, сочиняет ухищренные и ненужные способы проверки своих подозрений, придумывает предлоги для отсрочки, и притом такие предлоги, которым сам не верит. Словом, что касается исполнения долга, Гамлет просто тряпка и сам это очень хорошо понимает. А это, конечно, не такое качество, которое было бы способно возбудить уважение или мечтания о сходстве.

Гамлет, кроме того, умен, даже очень умен. Но эта черта чересчур общая. Если умных людей слишком мало сравнительно с потребностью в них и с количеством людей глупых, то их слишком много для того, чтобы какая-нибудь группа людей возмечтала о своем сходстве с тем или другим умным человеком, собственно по причине его большого ума. Гамлет умен, но и Яго умен, и вообще сам Шекспир так умен, что в его портретной галерее имеется целая коллекция умных людей, которым, однако, не посчастливилось в занимающем нас смысле так, как посчастливилось Гамлету. В этом смысле, впрочем, ум сам по себе никогда не бывает счастлив. Если многие люди мечтают о том, чтобы равняться умом с Кантом, Наполеоном, Байроном и т. п., то дело тут не в уме собственно, а в деятельности, в действии, в создании "Критики чистого разума", или в могучем давлении на политическую жизнь Европы, или в протестации против известного порядка вещей и т. п. Гамлет, будучи очень умным человеком, все время, собственно говоря, бездействует, вследствие чего самый ум его показывается нам со стороны вовсе не привлекательной. Чистый теоретик по складу ума, он поставлен лицом к лицу с практической задачей. При таких условиях даже гораздо более сильный ум не мог бы обнаружиться наиболее блестящими своими чертами. А ум Гамлета, кроме того, еще носит на себе несчастную печать той же бесхарактерности, которою отмечена вся жизнь Гамлета. Это ум, колеблющийся даже в сфере чисто теоретических вопросов. Словом, Гамлет не глубиной или обширностью своего ума плодит гамлетиков и -- простите, что забегаю вперед, -- гамлетизированных поросят.

Есть в Гамлете еще одна выдающаяся черта. Он, что называется, актерская натура. Он не только искусно притворяется сумасшедшим, но и безнужно притворяется; притворство это, вовсе не оправдываемое практическими соображениями, вытекает непосредственно из его душевной потребности. Недаром он так любит театр, недаром (как давно замечено критикой) он после удачного эффекта представления странствующих актеров радуется не тому, что убедился в истине, а тому, что как он всю эту механику искусно подвел! Механика по замыслу ребяческая, в практическом отношении ненужная, но технически действительно искусно веденная. Мы, впрочем, не будем стоять за то, что Гамлет -- притворщик по природе. Маудсли утверждает, что это прямо наследственная черта, бессознательно уловленная гением Шекспира. Но, может быть, дело надо понимать совсем не так. Может быть, склонность Гамлета к притворству и его искусство в этой сфере надо объяснять не непосредственными требованиями природы, а тем, что человеку, стоящему много выше окружающего общества, доставляет удовольствие играть умом в этом направлении: водить за нос людей, кичащихся своею практическою мудростью. Так или иначе, но может ли такая игра ума стать предметом тайных или явных помыслов о сходстве или подражании? На первый взгляд, конечно, не может, потому что, что же привлекательного в притворстве, то есть вранье? Притворщик чуть не ругательное слово. Не совсем, однако, это так просто. Совершенно независимо от официального кодекса морали во всяком обществе и даже во всяком отдельном слое общества существуют некоторые особые понятия о чести и достоинстве. Иногда они резко противоречат официальному кодексу и находятся поэтому в странном, двусмысленном положении.

Поступки, совершаемые на основании этих особых понятий, отчасти скрываются, отчасти же ими, напротив, при случае даже хвастаются. На примерах дело будет яснее видно. Взять, например, взяточничество. Официальная мораль преследует его самым решительным образом, и никто не посмеет выйти на площадь и с гордостью, во всеуслышание объявить себя взяточником. Но ведь не все же на площадях люди живут. Кроме площадей есть на свете улицы, переулки и закоулки. Есть сферы общества, где удачную взяткой хвастаются, где взяточника зовут молодцом, а прозевавшего подходящий случай -- дураком. И так смотрят на дело не только те, кто сами взятки берут. Нет, к этому официально столь презренному поступку более или менее снисходительно относится чуть не большинство. Или, например, прелюбодеяние. Кто не знает, что прелюбодей, в сущности, "молодец", не дающий маху, хотя в то же время существует, кажется, даже официальный позорящий термин: "явный прелюбодей". И нельзя сказать, что во всех подобных случаях неофициальный, а тем более действительный кодекс морали не имел в виду настоящих, несомненных достоинств. Напротив. Только достоинства эти отнюдь не морального характера. Взятчик обнаружил ум, ловкость, знание, а это все достоинства. Прелюбодей обладает опять-таки ловкостью, красотой и т. п.-- тоже достоинствами. Даже самые грубо низменные в нравственном смысле поступки или привычки могут стать предметом гордости и хвастовства для одних, снисходительного полуодобрения для других, если они связаны с каким-нибудь физическим преимуществом. (О преимуществах умственных в таких случаях не может быть и речи.) Например, обжорство отвратительно и стоит даже ниже черты нравственного суда, но оно требует известных физических достоинств -- силы, здоровья,-- и потому вы можете встретить людей, хвастающихся обжорством и удивляющихся ему, быть может, втайне мечтающих, как бы это уподобиться NN, который съел целого барана. Любопытно, что неофициальный кодекс, вообще одобряя взяточника или прелюбодея, не простит им успеха, достигнутого без помощи каких-нибудь умственных или физических достоинств. Известно, что взятка, полученная "даром", без знания дела и без некоторого умственного напряжения, никогда даже истыми взяточниками не одобряется. Прелюбодей-старик, то есть лишенный преимуществ силы и красоты, составляет для всех предмет презрения и насмешек. Все это свидетельствует о глубоком общественном беспорядке, о раздвоенности и расстроенности нравственных идеалов, причем официальный кодекс морали оказывается бессильным, а неофициальный произносит нравственный суд на основаниях, не имеющих никакого нравственного значения: одно и то же деяние прощает умному, сильному, здоровому, красивому и не прощает глупому, слабому, больному, уроду. Теперь нам нет надобности входить по этому поводу в подробные разъяснения. Мы берем просто факт, как он есть. А некоторые любопытные выводы из него сделаем ниже.

Возвращаясь к притворству Гамлета, нетрудно видеть, что и его нравственная оценка в нашем обществе крайне двусмысленна. Притворство, один из видов обмана, официально моралью решительно не одобряется. Но мораль неофициальная, столь же неодобрительно относясь к притворству, обусловленному какою-нибудь слабостью, берет под свое покровительство притворство, связанное с силою, с каким-нибудь физическим или умственным преимуществом. В знаменитом разговоре о форме облака, похожего, по желанию Гамлета, то на ласточку, то на верблюда, то на кита, оба собеседника притворяются. Но притворство Полония вытекает из трусливого угодничества царедворца, который чувствует свое ничтожество перед принцем, и неофициальная мораль его за это казнит, казнит, собственно, за ничтожество, за слабость. Притворство Гамлета, напротив, есть игра ума, чувствующего себя выше, сильнее всех окружающих и потому позволяющего себе над ними издеваться, тем более что и по общественному положению он их всех выше и сильнее; ему неофициальная мораль прощает. Казалось бы, надо наоборот. Как ни презренны формы, принимаемые иногда притворством слабого человека ради спасения собственной шкуры, но можно бы было простить его уже потому,

что тут дело о собственной шкуре идет и притворство является орудием защиты. Сильному человеку это орудие совсем не нужно. Если он пускает его в ход, так не для защиты, а для издевательства над соседями или для пытки их. Неужели мышь, притворяющаяся мертвою в лапах кота, достойна осуждения, а кот, прибегающий в этой жестокой потехе тоже к притворству, не достоин? Но неофициальная мораль совсем не видит нравственной стороны дела. Она просто любит силу и отворачивается от слабости. И вот почему притворство Гамлета, его актерская натура, черта сама по себе отнюдь не симпатичная, может стать для гамлетиков и гамлетизированных поросят предметом мечтаний о сходстве и подражании. Ходячая неофициальная мораль нашептывает этим людям, что очень бы хорошо было уподобиться Гамлету в искусстве притворяться, "играть на людях", потому что это искусство свидетельствует о превосходстве человека, а "превосходным" быть приятно.

Подобным же образом и другие черты характера и поступки Гамлета, не одобряемые ни официальной моралью, ни непосредственным нравственным чутьем, ни какую бы то ни было возвышенную религиозную или философскую этикой, могут попадать под покровительство ходячей неофициальной морали и этим путем плодить множество сознательных или бессознательных копий датского принца. Однако копии проистекают не исключительно из этого источника.

В известном критическом этюде "Гамлет и Дон-Кихот" г. Тургенев говорит, между прочим: "Наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолия, бледный, хотя и не худой вид (мать его замечает, что он толст), черная бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими рядом с язвительной потехой самоунижения, все в нем нравится, все пленяет: всякому лестно прослыть Гамлетом"². Одна половина занимающего нас вопроса безусловно хорошо обрисована этими словами, которые не только выражают верную мысль, но и сказаны, расположены верно. Этот красивый пель-мель³ из чувства превосходства и пера на шляпе, меланхолии и черной бархатной одежды много способствует обаятельности фигуры Гамлета. Ах! как хорошо страдать в черной бархатной одежде, возвышаясь притом над людьми подобно тому, как возвышается на шляпе красивое перо! Очень красиво -- что и говорить. Но красиво собственно только в замысле, а в действительности очень смешно. Бесспорно, что можно страдать в черной бархатной одежде и чувствовать свое превосходство, имея на голове шляпу с пером. Но кто ищет этого пель-меля, мечтает об нем, желает походить на страдальца непременно в шляпе с пером, тот наверное не превосходит и, вероятно, не страдает, а если и страдает, так разве от обиды, что шляпа у него без пера и одежда не черная бархатная. Понятно, что, когда копированием превосходного страдальца в черной бархатной одежде занимается зеленый юноша, у которого материнское молоко на губах не обсохло, так это ровно ничего не значит: молоко обсохнет, и юноша, может быть, будет хохотать над своими мечтами о сходстве с Гамлетом или стыдиться их. Мы говорим о людях взрослых, так или иначе определившихся. И, конечно, те, кто стремится "под тень Гамлета" (выражение Нежданова в "Нови") по поводу черного бархата, те люди не первого сорта. Неужто же только подобная шушера идет и находит себя в шекспировском Гамлете?

Разумеется, нет. Г. Тургенев обрисовал только одну половину дела. Существует и другая половина. Так как я вовсе не помышляю сказать о шекспировском Гамлете что-нибудь новое, да и не Гамлет нас здесь интересует, а некоторые его копии, то я опять приведу чужие справедливые слова. Гервинус говорит: "Шекспир выдвигает Гамлета на высоту гениального ума и нравственного стремления, не закрывая глаз на те погрешности или недостатки его натуры и образования, которые в такой степени умаляют и его достоинства, и его добродетели. Довольство, с которым поэт, очевидно, останавливается на этом характере, производит на нас тем более благоприятное впечатление, что мы видим в нем, как поэт снисходит к этой личности со своей умственной высоты, а не то, чтобы симпатизировал Гамлету, как равный равному. Потому что в глазах поэта те качества,

которых Гамлету недостает, именно и составляют полное достоинство человека"⁴. Значит, может быть, не "всякому лестно прослыть Гамлетом". И действительно, спросите любого деятельного, занятого каким-нибудь делом человека (какого бы калибра ни был он сам и какого бы калибра ни было его дело), мечтает ли он когда-нибудь о сходстве с Гамлетом, -- он рассмеется или удивится. Гамлет есть человек, лишенный энергии и деятельной воли, а вследствие этого при всех своих достоинствах является тряпкой. И Шекспир на него так смотрел, и сам Гамлет так именно себя понимает, за что и обдаёт себя горькими упреками и жестокими ругательствами. Но эта резкая искренность самоосуждения составляет новую привлекательную черту в характере Гамлета. Она мирит с ним и самого счастливого, и самого несчастного из людей дела, одинаково склонных презрительно относиться к бездельнику; мирит и того, кто настолько счастлив, что нашел себе дело по плечу и вкусу, и того, чьи плечи или мозг отдавлены непосильной работой. Она же необыкновенно усиливает влечение гамлетиков и гамлетизированных поросят "под тень Гамлета".

Гамлету по складу его ума и по характеру надо бы философию читать, хоть бы в том же Виттенбергском университете, где он учился. А между тем, он взял на себя или стечение обстоятельств взвалило на него практическую задачу, которую он выполнить не может, которая даже претит ему, хотя в то же время он признает ее целью своей жизни. Эта раздвоенность души вызывает у Гамлета целые потоки страстного, даже свирепого самобичевания. И он не рисуется при этом, а действительно искренно презирает и проклинает свою слабость. Гамлетик -- тот же Гамлет, только поменьше ростом. Как и тот, большой Гамлет, он не соответствует складом ума, характера, вкусов тому практическому делу, которое по обстоятельствам считает своим кровным делом. У него тоже раздвоенная душа, из нее тоже рвутся горькие вопли самобичевания за слабость, неспособность к деятельности, недостаток энергии. Но по относительной малости своего роста он стремится под тень великорослого Гамлета, ищет и находит утешение в своем с ним сходстве. Понятно, однако, что в такой копии уже не может быть цельной искренности покаяния оригинала. Гамлет страдал от сознания своей тряпичности безутешно. У гамлетика есть утешение, и утешение состоит в том, что был на свете датский принц с большим умом, тонкими чувствами, поэтической речью, который тоже болел неспособностью к делу и тоже ругательски себя за это ругал. Гамлет, вполне сознавая свое превосходство, в то же время искренно презирал себя за позор бездействия. Роясь в своей душе когтями могучего анализа, беря свои раны, он ловит и казнит себя на каждом шагу, искренно считает себя человеком более ничтожным, чем странствующий актер, который умеет зажечься исполняемой им ролью. Гамлетик же, узнавая черты своей физиономии в великом шекспировском зеркале, но не обладая страшными когтями анализа, роется в своей душе уже в двойном смысле или, вернее сказать, добывает в своей душе двойного сорта вещи: с одной стороны, бездействие и неспособность к делу позорны; с другой, однако, стороны, так же бездействовал и так же неспособен к делу был Гамлет, поэтический, умный, интересный Гамлет; и было у него перо на шляпе, и ходил он в черной бархатной одежде...

Да, у гамлетика уже мелькает мысль об общей красивости пель-меля из меланхолии и пера на шляпе и о приятности примерять этот пель-мель на себя. И это, конечно, не гамлетовская черта, потому что Гамлет прежде всего оригинален и не мечтает об чуждой одежде. Но в гамлетике все-таки сохраняются две несомненные, подлинные гамлетовские черты, конечно, в сокращенном размере. Во-первых, гамлетик все-таки действительно страдает от сознания своей бездельности; во-вторых, в связи с этим он не сверху вниз смотрит на практическую деятельность вообще и на лежащую перед ним задачу в частности, а наоборот, снизу вверх: не дело ничтожно, а он, гамлетик, ничтожен.

В гамлетизированном поросенке эти черты совершенно уже отсутствуют...

Однако что же это за гамлетизированный поросенок? -- спросит читатель. Как бывает никелированная или посеребренная медь, например, так бывает и гамлетизированный поросенок. Выражение это я употребил как-то несколько лет тому назад в фельетонах

"Вперемежку"⁵, и теперь оно мне вспомнилось при чтении рассказов, заглавия которых выписаны под заголовком предлагаемой статьи

Представьте себе поросенка в полной парадной поросычьей форме: рыльце пятакон, хвостик винтом, глазки "свиные", щетинка в грязи. Представьте себе далее, что этому поросенку приходит в голову странная на первый взгляд мысль спрятать свою грязную щетину и свой хвостик винтом под черную бархатную одежду, надеть шляпу с пером, принять меланхолический вид и, выйдя на площадь, объяснить мимоходящей публике: "Я -- датский принц Гамлет; быть или не быть? вот в чем вопрос". Гамлетом он от этого, конечно, не станет, а будет гамлетизированным поросенком.

Но не так уже странно желание гамлетизироваться, как может показаться на первый взгляд. Поросенку, понятное дело, хочется быть или хоть казаться красивее, чем он есть. Гамлет красив, а кроме того, прикинуться Гамлетом легче, чем кем-нибудь...

Гамлет -- бездельник и тряпка, и с этих сторон в нем могут себя узнавать все бездельники и тряпки. Гамлет, кроме того, облечен своим творцом в красивый пель-мель и снабжен из ряда вон выходящими дарованиями, и потому многие бездельники и тряпки хотят себя в нем узнавать, то есть копируют его, стремятся под его тень. Может показаться, что такое копирование представляет чрезвычайные трудности. В самом деле, откуда же первому встречному бездельнику и тряпке взять несомненные достоинства Гамлета -- его ум, его благородство, так возвышающие его над средой? Это так взять неоткуда, из земли не выраешь. Однако с этим затруднением справиться, в сущности, очень легко, потому что по свойственной человеку слабости даже очень глупые люди почитают себя иногда очень умными и очень низкие -- очень благородными. Это один из самых, обыкновенных обманов духовного зрения, направленного внутрь себя. Поросенок есть поросенок, но он может воображать себя умным, благородным человеком и таким рекомендоваться публике. Поверит или не поверит публика -- это дело другое. Затем очень большим препятствием представляется подлинность страданий Гамлета и страстная искренность его самобичевания. Когда мы в начале статьи пытались, перебирая отдельные черты фигуры Гамлета, открыть секрет многочисленности копий, мы говорили и о страданиях датского принца, но ни в них, ни в других отдельных чертах этого секрета не нашли. Нас выручили соображения об общей красоте пель-меля и о механике отношений официальной и неофициальной морали. Они и теперь должны нас выручить.

Как бы ни было сильно воображение поросенка, его часто должны одолевать разные сомнения насчет действительного обладания достоинствами Гамлета. Он, естественно, получает нередко житейские толчки отрезвляющего свойства, и потому в душе его происходит довольно-таки сложная работа, подчас очень мучительная. Он, например, только что наладит себя, а может быть, и из публики кого-нибудь в том смысле, что он, подобно Гамлету, двумя головами выше всех окружающих, а грубая жизнь возьмет, да и стащит его с этого монумента, воздвигнутого самому себе. Обидно, а при большом самолюбии даже мучительно обидно. И вот страдалец готов. Остается только гамлетизировать это страдание, то есть приурочить его не к действительному его источнику, а к той душевной раздвоенности, которою страдает Гамлет. Беда, однако, в том, что Гамлет страдает от искреннего презрения к самому себе, причем о своих достоинствах он вовсе даже не думает. Гамлетизированному поросенку надо, напротив, убедить себя и других в наличности огромных достоинств, которые дают ему право на шляпу с пером и на черную бархатную одежду. Поэтому он ради сходства с Гамлетом готов себя казнить наедине с самим собой и публично, но чтобы эта казнь не совсем взаправду была, не выражала бы настоящего презрения. Гамлет казнил себя за бездельность и тряпичность, которые всегда и везде уважением не пользуются. Поросенок за это казнить себя не станет. Он, напротив, убежден и других желал бы убедить, что подлежащее ему дело ниже его, что и вообще нет на земле практической деятельности, достойной его поросычьего великолепия. Не его надо, дескать, презирать за бездельность, а то дело, за которое он взялся, не веруя в него и не любя. Но поросенок будет очень

охотно казнить себя за такие мысли, чувства, поползновения, поступки, которые не одобряются официальной моралью, но состоят под покровительством морали неофициальной. Совершит он, положим, прелюбодеяние; совершит, как и подобает поросенку, грязно, грубо, совсем, словом, не так, как совершил бы его при случае Гамлет. Он и сам чувствует, что на Гамлета что-то не похоже, и потому ощущает некоторое недовольство, но немедленно же гамлетизирует это недовольство, утешая себя самобичеванием, которое тем удобнее, что ведь с точки зрения неофициальной морали он -- молодец, не давший маху. Выходит чрезвычайно удобное положение. С одной стороны, получается некоторая гамлетизация: скорбный вид, недовольство собой, самобичевание; с другой стороны, однако, самобичевание это производится по такому интересному поводу, который в глазах многих и многих даже очень возвышает поросенка. Зрителю, нравственно чуткому и требовательному, поросенок представляется с такой стороны, что, дескать, конечно, мое поведение грязно и грубо, но зато посмотрите, как я сам себя за это казню. Зритель, проникнутый официальной моралью, видит ту же самую глубину покаяния. Представители же морали неофициальной, которые попроще, так просто и говорят: молодца! чисто поручик Кувшинников! Более же утонченные говорят: ах, какой интересный страдалец и как к нему идет эта шляпа с пером!

Конечно, не всегда говорят именно эти речи и вообще не всегда так ко всеобщему удовольствию выходит. Но обстоятельства могут так складываться, и поросенок это очень хорошо знает...